

IV. Эссе

Борис Хазанов

Писатель – журналист – писатель

Эренбург и Вайян

Гладко зачёсанные, умащённые бриолином волосы, модный костюм, внешность сноба. Ухватки фата. Круг друзей: поэты-сюрреалисты, анархо-революционеры, «коммунизаны». Любимое общество: шлюхи. Ночные странствия по кабакам. Американские башмаки. Виски. Марихуана. Стекланный, временами почти мёртвый взгляд. Дьюк Эллингтон. Моцарт. Ещё виски. Взлететь и упасть. А потом написать роман.

Запись в дневнике: «Великие люди, вот кто делает историю... Но меня интересует, каким образом история даёт развернуться великим людям. Я полюбил коммунизм за то, что он разбудил большевиков, стальных мужей, львов. Сталин: человек из стали»¹.

Ещё две записи.

«Гуманизм стал реакционным. Гуманизм – это оружие привилегированных классов... Я против гуманизма».

«Девушка ждёт автобуса на вокзале в Маконе. Прогуливаясь, работает попкой, этого достаточно, чтобы сделать её интересной, и она это знает. Сидя, стоя – какое спокойствие и самообладание, какая уверенность в себе...»²

Ещё виски и дивертисмент Моцарта. Писатель живёт с женой-итальянкой, нестигаемой коммунисткой и верной подругой, в домике на окраине деревни, в тишине и благодатном климате, в предгорье Французских Альп. Розы, орхидеи.

¹ Цитаты из «Интимных записей» Р.Вайяна – в переводе автора статьи.

² Запись в дневнике: «Седьмая неделя без выпивки... Советский человек не может смотреть на вещи глазами западного человека, не может мыслить так, как мыслит западный человек, не может реагировать как он – и наоборот. Точно так же в алкогольное время невозможно смотреть на вещи, думать, реагировать как в трезвое время года».

Чувство тревоги, внутреннее беспокойство; выпив, он не может усидеть на месте. Хлопнуть дверцей своего «ягуара», вывернуть с просёлочной дороги на

автостраду и дать газ. Холодный, почти мёртвый взгляд. На светящемся диске не хватает нескольких делений, чтобы оторваться от бетона и взлететь к небесам. Писатель свободен, ибо он выбрал свободу. Он свободен, ибо выбрал революцию. Он свободен, и поэтому он член коммунистической партии. Несмотря на то, что он член партии, он свободен. Всё дурное, что говорится о Советском Союзе, – клевета врагов свободы.

Другие записи.

«В последние месяцы много занимался любовью... Мулатка Эммануэла в лесу св. Франциска. Аромат чёрных и жёстких волос под мышками. Согласилась, как будто речь идёт о чём-то само собой разумеющемся, но смотрит с любопытством. Хотела сниматься в кино, и ещё Бог знает что... Магда, в заведении на улице Саро le Case. Изысканная учтивость римских блядей... Роланда с площади Этюаль...»

«Часов в одиннадцать заснул, со снотворным, как обычно. Проснулся в десять минут первого. И – застонал: ... (Merde!) Какая тоска!»

«Вернулся из Москвы. Две недели тому назад, когда я туда приехал, в аэропорту, в зале ожидания ещё стоял Сталин. Теперь статую закрыли белым чехлом. Скоро её уберут. Придут рабочие, повесят петлю на шею, приладят лебёдку, и поминай как звали... Теперь и мне пришлось снять со стены его портрет. Я человек несентиментальный. Однажды я прогнал женщину, которую любил больше всего на свете; смотрел, как она тащит свои чемоданы, спускаясь по лестнице; она подняла ко мне лицо, залитое слезами, это лицо отпечаталось в

моём сердце, но я не заплакал... И когда Франция в июне сорокового года была разгромлена, я не пролил ни слезинки. А когда умер Сталин, я плакал. И теперь снова я плакал, плакал всё ночь. Плакал о Мейерхольде, которого убил Сталин, и плакал о Сталине-убийце».

Ответы на «анкету Пруста» (известную в России по ответам Маркса):

«Какое качество вы предпочитаете в мужчине? – Трезвый взгляд на самого себя».

«Ваш любимый цвет? – Чёрный, как волосы женщин на берегах Средиземного моря».

«Что вы больше всего не любите? – Отвечать на вопросы!»

В домашней библиотеке Ильи Эренбурга стояли изящные томики – подарок друга, собрание сочинений Вайяна, выпущенное в шестидесятых годах. Сейчас в книжных магазинах Парижа можно найти только роман «Закон»; всё остальное давно не переиздается.

Умерший весной 1965 года на 58-м году жизни от бронхогенного рака лёгких, некогда известный в СССР писатель и журналист Роже-Франсуа Вайян (Vailland), возможно, заслуживает того, чтобы считаться малым классиком французской литературы XX века. Две-три книги всё-таки дают ему право на этот ранг, и прежде всего «Закон» («La Loi», гонкуровская премия 1957 г.). По-русски, в образцовом переводе Н.Жарковой, роман появился уже после смерти автора; то, что переводилось и пропагандировалось во времена, когда Вайян состоял в рядах так называемых прогрессивных писателей Запада, другими словами, был членом компартии, носило отчётливый отпечаток этой принадлежности и забыто, по-видимому, прочно.

Я помню разговоры и споры с известным литературным критиком, старинным и близким другом, которого приводили в негодование попытки так или иначе объяснить преклонение некоторых западноевропейских писателей перед Сталиным и советским режимом; моему собеседнику казалось, что я склонен их оправдывать. Он не мог простить ни прокоммунистических симпатий Сартру и Симоне де Бовуар, ни двусмысленной лояльности престарелому Бернарду Шоу, ни тем более коммунистических убеждений какому-нибудь Роже Вайяну.

И в самом деле, читая заметки Бовуар о чуть ли не ежегодных поездках с Сартром в СССР, испытываешь неловкость – ведь неглупые же, в конце концов, были люди. О другой супружеской паре, Луи Арагоне и Эльзе Триоле, и говорить нечего: их поведение порой нельзя было назвать иначе как постыдным.

Причин было много, не последнюю роль играли высокие гонорары в полноценной валюте, которые отваливали советские издательства за всё, что переводилось и выпускалось неслыханными в Западной Европе тиражами. Но главными оставались – если не для всех, то для многих – идейные ориентации. Решающим был политизированный образ мыслей, пресловутые политические убеждения, всегда основанные на бинарной схеме: враг моего врага – мой друг, друг врага – враг. Питать отвращение к Советскому Союзу, брезгливость по отношению к корявому вождю народов, испытывать, казалось бы, вполне естественные чувства – означало оказаться в лагере правых. Быть независимым в этой системе представлений значило зависеть, «лить воду на мельницу». Сюда присоединялась и та особая казуистика, по которой попытки неуважительно отозваться о политике квалифицируются как «тоже политика».

То, что эти друзья мира и социализма в свою очередь «льют на мельницу», что их известность, талант, их ум или глупость, честность или суетность беззастен-

чиво используются, что они затянуты в машину, в данном случае – советскую пропагандистскую машину, как будто не доходило до их сознания.

Политическое мировоззрение может сыграть с писателем злую шутку. Политическое мировоззрение предписывало этим властителям дум носить шоры, запрещало интересоваться всем, что могло оказаться разоблачительной правдой; эти люди, как дети, могли утверждать, что XX съезд «открыл им глаза»; они не хотели знать ни о коллективизации, ни о голоде, ни о тотальном сыске и всеобщем доносителстве, ни об убийствах, поставленных на конвейер, ни о системе принудительного труда, не имели представления о реальной жизни в советском государстве, о тотальной лжи и неслыханной по размаху и наглости пропаганде, – не хотели знать и поэтому ничего не знали. СССР был маяком, светочем – и в то же время оставался провинцией мира, полуазиатской страной, сама по себе она их мало интересовала, они были поглощены политической борьбой в собственной стране, русского языка не знали, социализм, коммунизм – эти слова в их устах имели совершенно иной смысл.

Политические убеждения не разрешали им допустить ту простую мысль, что если бы, не дай Бог, режим, подобный советскому, победил в их собственной стране, они мгновенно лишились бы своих кафе и привычных удобств, своих клубов и редакций, возможности собираться вместе и дискутировать, говорить что думаешь и писать что хочешь, жить где вздумается и ездить по разным странам. Поборники свободы, они как будто не догадывались, а если догадывались, то не решались сказать вслух о том, что страна, внушавшая им чуть ли не религиозный пиетет, была царством тотальной несвободы. Они по-прежнему видели в Советской России бастион левых сил и защитницу всех угнетённых – между тем как режим в такой же мере заслуживал наименование «левого», как и крайне правого, приобрёл отчётливые фашистские черты – не заметить их мог только слепой.

Но они могли бы возразить, что в их собственной стране социальная несправедливость и социальная борьба отнюдь не были выдумкой марксистов, что в борьбе за права трудящихся коммунисты стояли на переднем крае, что в годы оккупации – память о них была свежа – партия стала активной участницей Сопротивления, что Советский Союз расколошматил Гитлера... Словом, ясно, что они могли бы сказать.

Эта филиппика понадобилась не ради того, чтобы осудить или оправдать Вайяна, – хотя в целом тема отнюдь не утратила актуальности, – но для того, чтобы оценить, понять некоторые из приведённых выше записей, предназначенных отнюдь не для публики. Пусть не удивляет сегодняшнего читателя плач по Сталину, эти сопли, размазанные на листах дневника. Быть может, писатель оплакивал самого себя. Холодному снобу, каким он хотел казаться, либертену-аморалисту в манере виконта де Вальмона, героя высоко ценимого Вайяном романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», которому (и роману, и герою) он немного подражал, – пригрезилось, что он обрёл великую веру. «Ecrits intimes» – ворох заметок, дневниковых записей, писем, набросков статей и заготовок прозы – были опубликованы вдовой Вайяна в конце 60-х годов, и, надо сказать, иные страницы этого тома принадлежат не к худшему из написанного Вайяном.

Илья Эренбург (известность Вайяна в СССР – в большой мере его заслуга) посвятил умершему другу главу в своих мемуарах, страницы, полные недомолвок, рассчитанные одновременно и на сообразительность читателя, и на его неосведомлённость. Но они принадлежат к немногому и лучшему, что написано на русском языке о Роже Вайяне. Эренбург привёл и выдержки из «Интимных записей», в то время рукопись ещё не была издана.

О многом, как водится, мемуарист умолчал. Между июнем и июлем 1956 года в дневнике Вайяна крупными буквами посередине листа начертано:

ÇA NE M'INTERESSE PLUS. (Мне это больше неинтересно).

Означает ли эта запись, что он поклонялся священным коровам только потому, что это было «интересно»?

Пятьдесят шестой год: доклад Хрущёва и начало оттепели. Пятьдесят шестой год – это также советские танки в Будапеште и кровавое подавление венгерского восстания. Но воздержимся от слишком прямолинейных толкований. Вайян подписал протест против вторжения в Венгрию. Несколько времени спустя он вышел из Французской коммунистической партии, и всё же нельзя утверждать, что идеи коммунизма, классовой борьбы, пролетарской революции и т.д. вполне утратили для него убедительность. Просто они перестали его интересовать. Невозможно утверждать, что он и прежде был образцовым коммунистом. Слишком трудно было сочетать индивидуализм с партийной дисциплиной, сексуальную свободу и даже одержимость сексом, эксцессы, которым чуть ли не до конца жизни предавался Вайян, – с партийным аскетизмом, рифмовать свободомыслие с догмой, независимость художника с идеологией. Нельзя даже сказать, что его вообще перестала интересовать политика (последняя опубликованная им статья называлась «Eloge de la politique», «Похвальное слово политике»). И всё-таки.

Эренбурга можно было бы избрать как модельную фигуру, противоположную Вайяну. Эренбург любил называть себя писателем, употребляя это слово в широ-

ком смысле; очевидно, что правильней было бы назвать его журналистом, который хотел быть не только журналистом. Кем же ещё? Писателем. И он как будто осуществился в этой роли, – как будто. Слишком многое, и не только недостаток художественного дарования, мешало блестящему, в других отношениях богато одарённому Эренбургу стать писателем-художником. На его примере можно видеть, чем отличается журнализм от писательства: вопреки распространённому мнению, это две вещи несовместные. Мы говорим не только о политике в собственном смысле. Речь идёт о чём-то большем: об отношении к действительности, о способе видеть, воспроизводить и преобразовать мир.

Французское слово *journal* означает «журнал» в том смысле, какой это слово имело в русском языке первой половины XIX века: дневник («журнал Печорина»); другое значение – газета.

На примере Эренбурга хорошо видно, чему может научить многолетняя деятельность журналиста, то есть работа для газет: оперативности, чуткости, злободневности, умению вращаться, как флюгер, спешке, которая становится рабочим методом, риторическому суесловию, привычному злоупотреблению языком, умению навести блеск на общие места, умению носиться, как по льду на коньках, по поверхности событий, наконец, искусству маскировать тенденциозность. На примере этого автора, единственного европейца среди всех своих советских коллег, очень много сделавшего, очень много написавшего и отнюдь не ушедшего навсегда *ad patres*, – если сегодня читать его книги почти невозможно, то его путь, его личность, его гуманизм и человеческое обаяние по-прежнему незабываемы, – на примере Ильи Григорьевича Эренбурга можно видеть, как глубоко внедрённая, регулярно, как наркотик, впрыскиваемая в кровь несвобода мысли становится, начиная по крайней мере с тридцатых годов, второй натурой; трёхтомные мемуары «Люди, годы, жизнь», последнее и, вероятно, значительнейшее творение Эренбурга, – памятник этой несвободе.

Вайян, который совсем молодым человеком стал журналистом-газетчиком, репортёром, объездившим весь свет, прошёл путь в противоположном направлении. Он испытывал непреодолимую потребность быть писателем. Он им стал.

Предки Роже Вайяна были савойскими крестьянами, родители – мелкими буржуа из провинциального городка в северном департаменте Уаза. Он окончил престижную Высшую нормальную школу в Париже. Как уже сказано, занялся жур-

налистикой. Рано пристрастился к наркотикам, окунулся в богему, практиковал, вслед за своим кумиром Артюром Рембо, *dérèglement de tous les sens* (раздрызг, расстройство всех чувств). Пробовал себя и в художественной литературе, испытал сильнейший соблазн сюрреализма.

Словечко *surréal* изобрёл Аполлинер. Литературная школа, присвоившая себе это название, пришедшая на смену дадаизму, сложившаяся после первой Мировой войны, ушла в прошлое (мы не касаемся сюрреализма в живописи и кино, который оказался более долговечным). Но тот, кого однажды, пусть издали или даже спустя много лет, коснулось её веяние, вправе сказать, что сюрреалистическое письмо – не отвлечённая программа, но некая фаза в эволюции писателя. Во всяком случае, живя сегодня, невозможно не учитывать её уроки. Нельзя представить себе серьёзного прозаика, который не принимал бы к сведению эксперимент сюрреализма.

Сюрреалистическому мировоззрению не надо учиться. Самые разные писатели только что минувшего века становились сюрреалистами в своих попытках вырваться из засасывающей традиционной прозы – ничего не зная о Бретоне и Супо, не интересуясь фрейдизмом.

Подсознание, насколько его можно вообще «осознать» и артикулировать; сновидение – театральные подмостки подсознания или, если угодно, сверхсознания; причудливая образность, автоматическое письмо, сексуальный туман, «чёрный юмор», метафизический алогизм, символ, не поддающийся расшифровке, – все эти приобретения литературы первой трети XX в., разумеется, давно перестали быть новинкой и вместе с тем не утратили своей новизны.

Мы сказали: фаза, этап. Вайян, в отличие от «корифеев» – Бретона и Арагона, кстати, вступивших и в ФКП, не стал знаменосцем сюрреализма. Он был человеком другого темперамента. Когда он пытался теоретизировать, выходила путаница (примером может служить послевоенная статья «*Le Surréalisme contre la Révolution*»). В его зрелом творчестве сюрреалистская юность почти не оставила следов; ссора с Арагоном подвела черту под целой эпохой. В июне 1940 г. Франция капитулировала. Вермахт оккупировал значительную часть страны, Третью республику сменило «Французское государство» под началом престарелого маршала Петена в Виши. Вайян, сперва было ставший коллаборационистом, примкнул к Сопротивлению (которому позже посвятил свой первый роман), сделался настоящим бойцом – не литературным, а реальным, ушёл в подполье, ежедневно рисковал жизнью, считался специалистом по пусканию под откос поездов с немецкими солдатами и вооружением.

Герой небольшого (и отнюдь не лучшего в наследии Роже Вайяна) романа «La Fête», «Праздник», многоопытный стареющий писатель Дюк повторяет слова Вайяна: «Мне это больше не интересно». Дюк – бывший коммунист и журналист, борец за права угнетённых, едва не расстрелянный в Алжире. Теперь он живёт на вилле среди живописной природы и только что начал роман «Праздник», который мы читаем. У Дюка и его жены гости – начинающий писатель Жан-Марк с молоденькой женой Люси. Работа не клеится, Дюку нужна встряска, жена понимает его и молча соглашается отпустить мужа и Люси в трёхдневный вояж; Жан-Марк тоже как будто не возражает. В номере отеля, где остановились Дюк и Люси, устраивается праздник любви, описанный со знанием дела, после чего краткосрочные любовники возвращаются к супруге и супругу, и Дюк с новыми силами принимается за роман.

«Мой метод, – говорил Вайян в одном из многочисленных интервью, – превратить каждую главу в законченную сцену. Я начинаю писать не раньше, чем представлю себе обстановку и поведение действующих лиц во всех подробностях, так что уже не могу переставить мебель, изменить диалог...». Жёсткая эстетика, трезвость и ясность повествования, дисциплинированное письмо, – стиль зрелого Вайяна ориентирован на классиков XVII–XVIII веков: мадам де Севинье, герцога Сен-Симона, Шодерло де Лакло; к ним надо присоединить Бенжамена Константа и Стендаля. От двадцатого века у Вайяна – особый остро-сладковатый сок, которым пропитана его суховатая проза: всепроникающий эротизм.

Так написан «Закон», созданный в летнем доме на юге Аппенинского полуострова, в Абрुццах, где одно время жил Вайян. Заголовок не лишён иронического смысла, потому что «закон» есть не что иное, как торжество произвола и беззакония. Вместе с тем речь идёт о чём-то большем, чем игра, в которую играет вся Южная Италия. Речь идёт о неизбывном, вечном законе жизни, в которой составившихся владык побеждают молодые хищники, чтобы уступить место хищникам следующего призыва. Это очень мрачная книга.

Играют в карты, в кости, иногда просто тянут жребий на соломинках. Выигравший, именуемый хозяином, *ragione*, получает право распоряжаться судьбой того, кто проиграл. «Хозяин» может им помыкать, как ему вздумается; проигравший превращается в безмолвного раба. Между прочим, игра в «закон» удивительно напоминает уличные игры подростков, процветавшие во времена нашего детства, в Москве, за тысячу вёрст от Италии.

Действие романа происходит в городке, где есть полиция, есть суд и так далее, но всё это – видимость. Господствуют два зверских инстинкта, идёт борьба за власть над городом и за девственность юной красотки Мариетты. Побеждает сама Мариетта – будущая хозяйка города.